Н. А. Яцук

ЭПОХА ТЕРРОРА 1793–1794 ГОДОВ: ОБЫДЕННОСТЬ, ЖЕСТОКОСТЬ ИЛИ ОЧИЩЕНИЕ?

Время массовых казней и упрощения судебной процедуры, начавшееся в сентябре 1793 года и продлившееся вплоть до термидорианского переворота, называют эпохой Террора и выделяют в отдельную, наиболее одиозную тему Французской революции. Ответственность за превращение гильотины в символ нового порядка лежит на якобинцах и их лидере Робеспьере, при этом причины данного явления до сих пор вызывают споры. Был ли Робеспьер фанатичным поклонником идеи равенства или хитроумным популистом? Нуждалась ли республика в очищении от своих врагов, и насколько сильно было реальное противостояние контрреволюции? Кем были сами якобинцы и почему именно они развязали Террор? Ответы на эти вопросы лежат в территориальной, социокультурной и административной истории Франции Старого режима.

Ключевые слова: эпоха Террора, якобинцы, контрреволюция, Старый режим.

N. Yatsuk

THE REIGN OF TERROR (1793–1794): BANALITY, VIOLENCE OR PURIFICATION?

The period of mass executions and of the simplification of the judicial process which began in September of 1793 and lasted until the 9 Thermidor Year II is often referred to as The Reign of Terror and distinguished as the most odious aspect of the French Revolution. The responsibility for transformation of guillotine into the symbol of the new order lays on the Jacobins and their leader Robespierre, though the reasons of this phenomenon are still a matter of controversy. Was Roberspierre a fanatic supporter of equality or just a cunning populist? Did Republic really need to be cleansed from its enemies, and how strong was the counterrevolutionary resistance in reality? Who were the Jacobins and why are they unleashed the Terror? The answers to these questions may be rooted in the territorial, sociocultural and administrative history of France of Ancien Régime.

Keywords: Reign of Terror, Jacobins, counterrevolution, Ancien Régime.

30 мая 1791 года в Национальном собрании выступал человек, обратившийся к законодателям с необычным и несколько поспешным предложением. Он сказал следующее: «Я пришел сюда просить… законодателей, которые должны быть их истолкователями и их органами, о том, чтобы они вычеркнули из кодекса французов эти кровавые законы, предписывающие юридические убийства, которые противоречат разуму и человечности и, еще больше, общим интересам. Я хочу обосновать перед ними два основных положения: во-первых, что смертная казнь по существу несправедлива; во-вторых, что это не наиболее репрессивное из всех наказаний, и что она гораздо больше способствует умножению преступлений, чем их предупреждению» [12, с. 149]. Этим человеком был Робеспьер. Юрист по профессии, он имел полное право рассуждать о смертной казни в современной ему Франции как об аналоге закона талиона, когда эта мера воздействия служит более целям мести и компенсации совершенного преступления, чем как реальное средство наказания. Через год этот

юрист-просветитель скажет по поводу процесса над бывшим королем следующее: «К какому наказанию приговорим мы Людовика? Смертная казнь — слишком жестокая мера. Нет, говорит другой. Жизнь — еще более жестокая кара. Я требую, чтобы ему была сохранена жизнь» [13, с. 140]. На этотм процессе друг и соратник Робеспьера Сен-Жюст произнес речь, не оставлявшую повода обвинить автора в двусмысленности: «Король должен быть судим как враг, поскольку уж мы решили его судить, а не свергать… Этот человек должен либо царствовать, либо умереть» [39, с. 204].

Тем не менее двусмысленность в этих словах была, как и в содержаниях позднейших речей лидеров Горы. Тогда это выступление вызвало шок, поскольку открыто упоминало о смерти и казни, без обычной революционной риторики [31, с. 658–659]. Через некоторое время будут казнены Камиль Демулен и его жена Люсиль, что некоторые историки социалистических убеждений, в частности П. А. Кропоткин, считали происками роялистов [5, с. 432], а в советской науке широко бытовала точка зрения [7, с. 207–232], что сам Демулен был подкуплен агентами роялистов. Казни его жены, мадам Елизаветы и многих других, по мнению Кропоткина, излишних жертв Революции, объяснялись так называемыми «тюремными заговорами» [22, с. 47–55]. Само существование этих заговоров столь же современным историкам трудно определить, как и термин «подозрительные» (suspects) из одноименного закона 17 сентября 1793 года — для современников Террора и его исполнителей. Террор, как и всякое другое событие Французской революции, имел свои отражения и прямые заимствования его терминологии в позднейшие времена: «правые», «левые», «Директория», «Конвент», пейоративы «бывший» и «враг народа». Однако употребления терминов «подозрительные лица» и «тюремные заговоры (тюремная конспирация)» составили специфику только Французской революции, в частности, ее якобинского периода, что своей туманностью позволило создать своего рода «механизм осуждения» [31, с. 685].

Процесс перехода к Террору и его восприятие самими исполнителями наиболее полным и оригинальным образом отражены в трудах современного французского историка П. Генифе. Согласно ему, террор, с одной стороны, явился средством сплочения вокруг общего врага в условиях настоящих или вымышленных угроз со стороны противников революции, с другой стороны, — как логически оправданное объяснение неудач революции, выполняя своего рода компенсаторную функцию массового сознания [29, с. 246–254, 264–270]. Сама эта политическая мера возникла задолго до якобинской диктатуры, но именно якобинцы сделали из нее опору власти. Неоднократно подчеркивалось, что виной тому был утопический идеализм Робеспьера и его сторонников, которые желали создать общество, где «единственными связями, которые должны поддерживать отношения между людьми, будут по преимуществу узы дружбы, нежели брачные обеты или родство» [39, с. 197]. Протоколы судебных заседаний против фракций часто оставляют впечатление осуждения людей именно за предательство этой универсальной дружбы, нежели за уголовные преступления. Так, «раскаявшийся» кюре принужден рассказать свою историю собравшимся в Конвенте депутатам: «Родившись плебеем, я в добрый час почувствовал любовь к свободе и равенству. Избранный моими согражданами в Законодательное собрание, я не посещал его до тех пор, пока декларация прав человека не была опубликована для всеобщего сведения…» [30, с. 834]. Стремление к искренности и обращение к чувствам слушателей и читателей было знамением времени; даже осужден-

ные на смерть, которым было отказано в какой-либо апелляции к правосудию, пытаются с помощью писем доказать свою честность и невиновность [22, с. 113]. Даже самые отъявленные контрреволюционеры, не скрывавшие своих убеждений, объявляли в письмах родственникам о своей невиновности, дабы их «дети могли гордо держать голову» [22, с. 129] перед всеми, хотя, казалось бы, смерть от рук якобинцев для роялиста является скорее поводом для гордости, чем позором. Ибо, как заметил осужденный роялист Фонтевье, «не эшафота надобно стыдиться, а преступления» [22, с. 127].

С определением преступления и заслуги Х. Бурстин в своей монографии разбирается, изучая жизнь «неисчислимой массы» жителей Парижа [24, с. 19], принимавших участие в ключевых событиях революции либо в роли статистов, либо в роли второстепенных действующих лиц. То, что историк называет кратким словом «participation», может создать немеркнущую славу людям вполне обычным, без особых дарований, как, например, юный революционный барабанщик Бара или выстреливший в Робеспьера жандарм Мерда [24, с. 164–165, 357–361]. Все это «участие» и всеобщая героизация, а также своеобразное понятие чести было если не порождено, то, во всяком случае, координировалось якобинской идеологией. Как говорила роялистская шпионка Эме де Куаньи, сама бывшая заключенной во время Террора: «Обезглавив Робеспьера, эти несчастные обезглавили свою якобинскую революцию и систему, против которой устраивали заговоры ради замещения собой верховной власти; у них не было даже времени хотя бы сравниться с той легендой, с помощью которой их могущество распространилось по всей Франции» [22, с. 96].

Только ли в руссоизме крылись идеологические корни якобинства? И почему именно эти рациональные и гуманные люди стали проповедниками Террора? Да и что такое, наконец, сам Террор? Дело в том, что современное понятие террора никак не может быть соотнесено с якобинским Террором, так же как стихийные народные «линчевания» аристократов не могут быть отнесены к Террору по определению. Террор как таковой являлся четким и отлаженным механизмом, нашедшим свое полное определение только под конец самой якобинской диктатуры, в декретах от 8 и 13 вантоза II года Республики (26 февраля и 3 марта 1794 года), а также в законе от 22 прериаля (10 июня того же года). Согласно этим документам отныне все, а не только связанные с политическими делами граждане, могли быть подвергнуты рассмотрению Комитетом общественного спасения совместно с Комитетом общественной безопасности, разделены на три категории (только третья из них означала смертную казнь) [29, с. 253–254] и судимы по упрощенной юридической процедуре. Обычно подразумевается, что Робеспьер и его «группа» действовали в целях создания «добродетельного общества» и «чистки» страны от заведомых контрреволюционеров [29, с. 261–265], но подобные идеологические представления основываются обычно на речах якобинцев, на документах личного характера и некоторой излишней «идеологизации» экономических преступлений. О. Блан справедливо указывает, что одно из самых частых обвинений — чеканка фальшивых монет — могла быть производима как роялистами ради создания «ажиотажа» на французских рынках и падения экономического престижа республики, так и заурядными мошенниками [22, с. 13–14]. При этом и те и другие одинаково относились к разряду «подозрительных», что являлось характерным проявлением генерализации целого ряда понятий, объединенных об-

щим признаком — вполне в духе философии Просвещения.

Считается, что наибольшее влияние на Робеспьера оказал Руссо, общавшийся с будущим диктатором в Эрменонвиле [8, с. 20]. Он признавал, с одной стороны, вред наук, искусств и культуры для человека, который по природе своей не является ни «социальным», ни «политическим» существом, но, с другой стороны, не отрицал, что от последствий цивилизации избавиться уже невозможно [38, с. 26–127, 142–145]. Согласно ему, мысль о «благородном дикаре» явилась ему самым случайным образом, когда он был в зените своей музыкальной славы, будучи сочинителем оперы «Нежные музы» и нескольких музыкальных комедий. Навещая своего друга Дени Дидро, заключенного в башне Венсеннского замка, Руссо в дороге открыл взятую с собой газету, где и увидел «тему, предложенную Дижонской академией наук на премию в будущем году: "Способствовал ли прогресс наук и искусств порче или очищению нравов?"» [16, с. 352]. Науку философии Руссо принялся изучать так же, как и музыку, в чем он сам признавался, осваивая знания на ходу и пробуя доказать мысль, на первый взгляд, абсурдную и до тех пор не приходившую ему в голову. Если слава женевца и мода на естественность и явились своего рода знамением времени, то мысли самого философа не были настолько новы, как бы ему хотелось: корни их можно было найти во всем предыдущем веке развития французского абсолютизма и даже в салонной культуре [10, с. 121].

Руссо создал в своих произведениях образ Швейцарии (в частности, Женевы, где он родился), немного идеалистичный уже к моменту его зрелых лет [38, с. 131–135]. Женева начала XVIII века, а вовсе не «варварские» племена, являлась для Руссо идеалом государственного устройства, хотя и без крайностей строгого кальвинистского уклада. Более детально Руссо изложил свои взгляды в «Эмиле» [16, с. 606–607], признанном одним из известнейших трактатов по педагогике своего века. Якобинский проект Лепелетье де Сен-Фаржо, основанный на идеях романа, предусматривал систему общеобразовательных учебных заведений, выстроенную в духе строгого равенства: «Все те, кто в будущем должны составлять республику, будут воспитываться по-республикански. Одинаковое обхождение, одно и то же питание, одинаковая одежда, одно и то же обучение приведут к тому, что равенство для юных учащихся явится не какой-то несостоятельной теорией, а постоянно действующей практикой. Так образуется обновленная, сильная, трудолюбивая, благоразумная, дисциплинированная раса, отделенная непроходимым барьером от порочного контакта с предрассудками нашего устаревшего рода» [9, с. 252]. Слово «раса», мелькнувшее в плане бывшего маркиза де Сен-Фаржо, означало тогда некую наследственную черту, которую сегодня можно обозначить как «род», «кровь» или «порода», и чаще всего употреблялось в отношении дворянства. Так, в 1700 году появляется работа графа Анри де Буленвилье «Опыт о французском дворянстве», где он защищает идею о том, что дворяне — не просто наследственное сословие, служащее короне на поле боя и в администрации, но «раса» — особый народ внутри народа, берущий начало от «эпизода изначального насилия» [28, с. 156–157].

Как мы помним, в законе о подозрительных уточнялось, что «подозрительным» становится всякий, чьи родственники эмигрировали. Связана подобная осторожность в отношении родства была не только с общеизвестной дворянской солидарностью, сколько с самой принадлежностью к контрреволюции с проливанием крови. Сапожник Симон, руководствуясь словами

его друга и учителя Марата, называл Людовика XVII «отпрыском стервятников» (race de vipère) [25, с. 171]. Комиссар Лекиньо, посланный на подавление вандейского восстания, убеждал войска не брать пленных, поскольку «вся их раса проклята» [40, с. 234]. Робеспьер, для того чтобы убедить аудиторию своего журнала «Письма к своим избирателям» в контрреволюционности Бриссо, называет того по его якобы «феодальному имени» Варвиль, которое будущий жирондист использовал до революции для придания себе аристократического статуса [14, с. 122]. Тем не менее известно, что сам Робеспьер до революции звался Максимилианом Мари Изидором де Робеспьером, причем, в отличие от Дантона («д'Антона») и Камиля Демулена («де Мулена»), его дореволюционное имя не оспаривалось даже противниками-роялистами [18, с. 178]. Все это позволило некоторым противникам якобинского триумвирата считать якобинцев «замаскированной монархической партией» [34, с. 280], а самому Робеспьеру приписывать роль Мирабо и говорить о его связях с королевской семьей [15, с. 41], а чуть позже — о собственных монархических амбициях «Неподкупного» [29, с. 294–302]. Современные историки нередко оказываются перед сложной ситуацией, рассуждая о происхождении Робеспьера: его фамилия была довольно сложна для произношения, нетипична даже для родной ему Пикардии, и при этом его ближайшие предки не были иностранцами. Обычно выходцы из других стран Европы получали спустя несколько поколений «более французскую» версию своей фамилии, как например, предки Мирабо, рыбаки Рике [3, с. 22–27]. Наряду с обогатившимися буржуа существовало и мелкое дворянство, принужденное зарабатывать себе на жизнь крестьянским трудом или вливаясь в ряды городской буржуазии [18, с. 24–28]. Тема эта была широко освещена в литературе того времени; так, в романе Ретифа де ла Бретона «Совращенный поселянин» главный герой был по происхождению обедневшим дворянином, чья семья занимается сельским хозяйством наряду с другими крестьянами, будучи по происхождению дворянами, разоренными в ходе Религиозных войн [11, с. 12].

Как заявлял Л. Н. Гумилев, впервые о теории этногенеза он задумался на примере Реформации, поскольку «принцип сословности» не объяснял противостояния католиков и гугенотов [2, с. 232–233]. Логичнее выглядел принцип территориальности: например, Центральная и Северная Франция сделалась опорой протестантизма против королевской власти, тогда как ранее она считалась опорой короля против претензий феодалов [32, с. 12–14], а позже именно эти земли станут опорой революции. Мелкие феодалы когда-то развитых протестантских регионов были разорены, в рядах «дворянства шпаги» произошла существенная убыль населения, что позволило поднять роль «дворянства мантии» и парламентов на прежде недосягаемую высоту. Моральные критерии старого дворянства этого периода выразились в многократно обсуждаемой во французской историографии концепции «мятежного долга». А. Жуанна сформулировала его таким образом: «Этот так называемый долг, оправдывавший неуемное стремление к свободе и презрение к смерти» [4, с. 266; 28, с. 39–41]. Примерами этого служит культ героев, отдавших жизнь за свои убеждения, — таких, как юный барабанщик Франсуа-Жозеф Бара и подросток-патриот Агриколь Виала [24, с. 159–165]. Вне зависимости от реального значения их деятельности для самой революции и пользы их смерти для реального дела культ героизма и смерти, даже безрассудной, горячо воспевался якобинцами. Как писал Сен-Жюст, сын кавалера Ордена святого Людовика: «Обстоятельства

не представляются трудными для того, кто заранее обречен могиле. Я принимаю тебя, могила, как благодеяние провидения, дабы не быть обреченным видеть беды моей отчизны и всего человечества… Я презираю прах, из которого я был сотворен и с помощью которого говорю с вами, его можно преследовать и приговорить к смерти. Но я защищаю то, что дало мне жизнь независимую и то, что я по праву заслужил в грядущих веках и на небесах» [36, с. 818]. Тем самым свобода и право умереть или приговорить к смерти кого-либо ради убеждений, истины и человечества является универсальным мерилом для революционера-якобинца.

Другой важной и, несомненно, неотъемлемой чертой революции явилась главенствующая роль юристов на всех этапах преобразований. В частности, именно это обстоятельство вызвало гнев Эдмунда Бёрка [23, с. 60–64], который считал характер Конституции, которую эти «адвокаты» могут подготовить для Франции, утопичной и не соответствующей реальности. Впервые в Новое время парламенты поднимают голову в период Фронды, хотя французскими историками и считается, что «с точки зрения истории структуры действующих сил она является скорее регрессией» [32, с. 16]. Сами парламентарии осознавали свою власть и ответственность, отличную от военной службы «дворянства шпаги». Так, в 1610 году президент руанского парламента заявлял, что, будучи «назначенными королем, мы заседаем рядом с ним для того, чтобы исполнять нашу главную задачу, которая состоит в даровании справедливости, ради этого мы носим сии облачения, мантии и орудия, которые подобны венцам и одеждам древних царей» [32, с. 63]. Идеологом нового обоснования ценности юриспруденции стал президент бордоского парламента Монтескье, впервые высказавший идею о разделении властей. Что характерно, сам автор не был сторонником абсолютизма и скептически отзывался о пресловутой французской «вежливости» [38, с. 58–61] и о самих нравах государства. По мысли автора «Духа законов», никакое образование и манеры не в силах оправдать деспотизм, а монархия по самому своему существу не может исполнять просветительскую функцию, на чем настаивал мещанин Вольтер [38, с. 51–55].

То, что машина террора набирала ход, который сложно было остановить без резкого вмешательства в ее работу, довольно ясно. Но являлась ли угроза со стороны «бывших» такой непреодолимой силой, которая должна была вынудить правительство пойти на крайние меры ради ее предотвращения? Одним из самых известных «излишеств» эпохи Террора, вызывающим вопросы и по сей день, является наличие юридического термина «тюремная конспирация». Главным воплощением этого термина явились сентябрьские убийства 1792 года и предшествующая им расправа с швейцарскими гвардейцами, совершенная 10 августа того же года. Если в случае со швейцарцами, которым был дан приказ короля вернуться в свои казармы (и который они не выполнили) [27, с. 60–63], это выглядит вполне логично и законно, то сентябрьские убийства таковыми не представляются. Сентябрьские жертвы — это по преимуществу французы, происходившие как из дворянского сословия, так и из священнического (в том числе из небогатых аббатов из бедных приходов), да к тому же из числа заключенных. Согласно Коммуне, они замышляли заговор, «в котором были замешаны некоторые члены национального собрания» [20, с. 757]. Хотя Коммуна и не была участницей сентябрьских событий, фактически она создала прецедент для героизации народных выступлений самих по себе, считая их легитимными во время революции. Для многих «септембризеров»

подобные стихийные движения были единственным и самым верным способом заявить о своем «патриотизме» — в большинстве своем эти люди не проходили необходимый для «активных граждан» ценз, а некоторые не могли иначе заявить о своей гражданской позиции, например, женщины.

Всему этому, казалось бы, противоречила сама возможность осуществления тюремной конспирации. Однако она существовала, пусть и не в тех объемах, какие виделись восставшим санкюлотам. Одним из горячих сторонников существования конспирации являлся не кто иной, как главный обвинитель Фукье-Тенвиль, часто пользовавшийся самой идеей для «очищения» тюрем, в которых иногда просто не хватало мест для новых осужденных [22, с. 21–24]. Часто в тюрьмы допускались визитеры, передававшие узникам посылки с одеждой, съестным и деньгами, на что указывают многочисленные упоминания о долгах, сделанных во время заключения, самими приговоренными к смерти [22, с. 149, 168, 170]. Особо ценные для коррумпированной верхушки Трибунала заключенные содержались не в тюрьмах, а в больницах, где они могли пользоваться большей свободой для приема посетителей и передачи денег своим высокопоставленным «тюремщикам». Для некоторых из заключенных обычных тюрем существовала еще одна возможность уцелеть — с помощью подкупа или дружеских и любовных связей [26, с. 50–53]. То, что Террор не закончился вместе с падением Робеспьера, указывает не столько на отлаженную государственную машину, сколько на существование действительного очага недовольства, усилившегося с приходом к власти Директории.

Пришествие Наполеона Бонапарта, встреченного как «спасителя» от революционных эксцессов и нашествия коалиционных сил Европы, указывает еще на одну черту Террора как явления. Речь пойдет о самой простой из составляющих этого явления, а именно о насилии как способе создания единства — без фракций и противоборствующих партий. К моменту, когда к власти пришел молодой и харизматичный генерал, Французская республика исчерпала свои силы на интенсивное развитие, объединяющее разные полусамостоятельные части феодального пространства в единую территорию с единым народом. Впереди республиканские идеи ждало только экстенсивное развитие. Нивелирующий и универсальный дух был намечен уже во времена знаменитого лозунга «Отечество в опасности». То, что представлялось истинным патриотам «Отечеством», имело свои особенности, символы и методы саморегуляции, одним из которых был Террор. К началу революции сама территория Франции являлась конгломератом нескольких территорий со своими особенностями юридической системы, в частности, с пережитками средневековых кутюмов [41, с. 509–510], с национальным самосознанием и даже с разной степенью автономии. Так, Авиньон по-прежнему считался папской территорией, хотя сам папа римский там давно не жил. Окончательно французским городом он стал только после революции, несмотря на попытки Людовика XV завоевать Авиньон и графство Венессен в 1768–1774 годах [37, с. 118–122].

Многие другие территории, не обладая такими правами полуавтономии, тем не менее мыслились и являлись на деле землями не вполне французскими, сохраняя собственное мироощущение, традиции и порой даже язык. Одним из характерных примеров такого рода являлась Бретань, населенная кельтами по происхождению, а также Пикардия, близкая по культуре и национальному составу к фландрским регионам, и особенно Нормандия, родина Вильгельма Завоевателя, рассматривавшаяся в средневековье как неотъемлемая часть

фьефа королей Англии [17, с. 8–10; 1, с. 11–14]. Южные области Аквитании — родины большинства жирондистов, и Прованса, где располагалось большинство родовых гнезд либеральной аристократии, сравнительно долго были независимыми де-юре. Между либерализмом и радикализмом на географической карте Франции границы практически повторяли средневековый барьер между языками ок и ойль [32, с. 82–89]. Но, что самое интересное, регионы, насчитывающие солидную долю умеренных либералов, примерно в одинаковой пропорции поставляли и якобинских депутатов. То есть упомянутые выше регионы сами по себе принимали наиболее активное участие в идеологических битвах времен Революции, проявляя наибольшую заинтересованность в революции как таковой. В некоторых областях, например в Бретани, ситуация порождала амбивалентное отношение к преобразованиям — в воспоминаниях Шатобриана гордость своим древним родом и религиозное чувство [18, с. 34–39] соседствуют с республиканскими устремлениями [18, с. 91–92]. Другой бретонец, офицер Лоазьель де Треогат, уволился со службы ради написания романов, которые, по его словам, «единственно могли бы дать утешение» [28, с. 281–289]. Подобные настроения получили в историографии имя «синдрома де Гриё», отмеченного историком М. Дома как конфликт между «трагической свободой» молодого человека и «его отцом, стариком, вдохновленным "фантастическими представлениями о чести", которые одни виновны в нравственном падении юноши» [19, с. 18]. Кроме того, в комплекс самого синдрома нередко включаются вещи криминальные для того времени: карточная игра [21, с. 395], грабежи и насилие над крестьянами [28, с. 135–137].

Нравы и идеология революционной эпохи составляли резкий контраст, что было заметно на примере выдающихся деятелей эпохи. Робеспьер выгодно выделялся на фоне своих современников, отмечавших его редкую честность, чувствительность, которую Бриссо называл «диктатурой розовой воды» [29, с. 225]. Как вспоминал Фрерон о детстве трибуна, «он был таким же, каким и сейчас, то есть печальным, желчным, суровым и ревнивым к успехам своих товарищей… Когда Шарль де Ламет был ранен на дуэли, Робеспьер почитал своим священным долгом навещать его два раза на дню. Он был его другом, так же как и Барнаву. Последнего он отправил на гильотину, а другого не смог сберечь. Он пожимал руку Камиллу, своему другу детства, в тот самый день, как подписал приказ об его аресте» [34, с. 154, 158–159]. Для защитника революции, каким представлял себя Робеспьер, было немыслимо откликнуться на «то, чего требовал Демулен»: «снисхождения, амнистии, отмену революционных законов, безнаказанность аристократов и закат патриотизма» [34, с. 38].

Согласно А. Парри, «идею террора сформулировал первым Дантон: Террор, по его словам, был самым желанным и самым необходимым орудием молодой Республики против ее врагов, как иностранных, так и находящихся внутри ее» [35, с. 46]. Таким образом, уничтожая врагов Республики, якобинцы фактически приносили в жертву себя и свои личные мысли и привязанности (если вспомнить об отсутствии семейной жизни и скромном имуществе вождей якобинцев), что не отменяло их ненависть к тому злу, которое несли в себе их друзья и коллеги. Жестокость, проявляемая по отношению к жертвам, не была прерогативой Робеспьера, выносившего приговор своим врагам как врагам Республики, во время своих обвинительных речей он оставался скорее хладнокровным [7, с. 21]. Сен-Жюст был с ним согласен в одном: в отрицании своей собственной личности ради защиты дела свободы, что его враги считали явным противоречием с самим поведением «месье шевалье» [33, с. 244]. В опре-

деленном смысле он смог бы стать диктатором, с его любовью к военной науке и веку Октавиана Августа, но этому помешал Термидор [39, с. 198–204]. Лас-Каз вспоминал слова Наполеона о том, что Робеспьер-младший пригласил генерала Бонапарта в Париж накануне крушения якобинцев, но тот отказался [6, с. 244]. «Если бы я последовал за молодым Робеспьером, — сказал император, — насколько иной была бы моя карьера!.. Несомненно, для меня была предназначена какая-то должность, и мне было бы предопределено стать участником своего рода вандемьера» [6, с. 245]. Таким образом, вместо «вандемьера Робеспьера» другой вандемьер привел к власти Наполеона — как человека иностранного происхождения, не замешанного в терроре и в большой политике, то есть, руководствуясь понятием самого Робеспьера, чистого от предрассудков Старого режима и проникнутого идеями Революции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Басовская Н. И.* Столетняя война: леопард против лилии. М.: Астрель: АСТ, 2010. 446 с.
2. *Гумилев Л. Н.* Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. М.: Рольф, 2002. 384 с.
3. *Де Кастр Р.* Мирабо: несвершившаяся судьба. М.: Молодая гвардия, 2008. 419 с.
4. *Констан Ж. М.* Повседневная жизнь французов во времена Религиозных войн. М.: Молодая гвардия, 2005. 341 с.
5. *Кропоткин П. А.* Великая французская революция 1789–1793. М.: Наука, 1979. 575 с.
6. *Лас-Каз,* граф. Мемориал Святой Елены, или Воспоминания об императоре Наполеоне: В 2 кн. Кн. I. М.: Захаров, 2014. 704 с.
7. *Левандовский А. П.* Максимилиан Робеспьер. М.: Молодая гвардия, 1965. 304 с.
8. *Ленотр Ж.* Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции. М.: Молодая гвардия, 2006. 335 с.
9. *Лепелетье М.* План национального воспитания / Робеспьер М. Избр. произв.: В 3 т. М.: Наука, 1965. Т. III. С. 231–263.
10. *Монтень М. де.* Опыты. М.: Эксмо, 2006. 512 с.
11. *Ретиф де ла Бретон Н. Э.* Совращенный поселянин. М.: Эксмо, 2008. 640 с.
12. *Робеспьер М.* О смертной казни. Речь в Национальном собрании 30 мая 1791 г. // Избранные произведения: В 3 т. М.: Наука, 1965. Т. I. С. 149–154.
13. *Робеспьер М.* О суде над Людовиком XVI. Речь в Национальном конвенте 3 декабря 1792 г. // Избранные произведения: В 3 т. М.: Наука, 1965. Т. II. С. 133–141.
14. *Робеспьер М.* Ответ Жерому Петиону 30 ноября 1792 г. // Избранные произведения: В 3 т. М.: Наука, 1965. Т. II. С. 105–125.
15. *Робеспьер М.* По поводу обвинения в диктатуре. Речь в Конвенте 25 сентября 1792 г. // Избранные произведения: В 3 т. М.: Наука, 1965. Т. II. С. 37–42.
16. *Руссо Ж.-Ж.* Исповедь. М.: Захаров, 2004. 704 с.
17. *Флори Ж.* Ричард Львиное Сердце: Король-рыцарь. СПб.: Евразия, 2008. 666 с.
18. *Шатобриан Ф.-Р.* Замогильные записки. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. 736 с.
19. *Abad B.* The Name of the Father: Rétif de la Bretonne and the Representation of Paternity in Late Eighteen-Century France. [Diss.] Ann Arbor, ProQuest, 2007. 250 p.
20. Appel à la generalization des massacres dans toute la France. // Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 757–758.
21. *Belmas É.* Jouer autrefois. Essai sur le jeu dans la France modern (XVIe — XVIIIe siècle). Seyssel: Champ Vallon, 2006. 439 p.
22. *Blanc O.* La dernière lettre. Prisons et condamnés de la Révolution 1793–1794. Lonrai: Éditions Tallandier, 2013. 285 p.
23. *Burke E.* Reflections on the Revolution in France, and on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to That Event. In a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris. London: Printed for J. Dodsley, in Pall-Mall, M. DCC. XC. 364 p.

24. *Burstin H.* Révolutionnaires: Pour l'anthropologie de la Révolution française. Paris: Vendémiaire, 2013. 445 p.
25. *Charles-Roux J.* Passion et calvaire d'un enfant roi de France. // Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 163–181.
26. *Custine Marquis de.* La Russie en 1839. T. I. Bruxelles: Wouters et Ce, 1843. 224 p.
27. *Diesbach, G. de.* Le massacre du 10 août. // Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 53–64.
28. *Figeac M.* Les noblesses en France. Du XVIe au milieu du XIXe siècle. Paris: Armand Colin, 2013. 415 p.
29. *Gueniffey P.* Histoires de la Révolution et de l'Empire. Paris: Éditions Perrin, 2013. 744 p.
30. L'apostasie trainee à la barre de la Convention nationale. // Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 831–836.
31. *Lavaux Ph.* Augustin Cochin et la la «nouvelle histoire» de la Révolution. // La livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 679–689.
32. *Lévêque P.* Histoire des forces politiques en France. 1789–1880. T. I. Paris: Armand Colin, 1992. 370 p.
33. *Linton M.* Choosing Terror: Virtue, Friendship, and Authencity in the French Revolution. Oxford: Oxford University Press, 2013. 323 p.
34. Papiers inédits trouvès chez Robespierre, Saint-Just, Payan, etc., supprimés ou omis par Courtois; précédés du rapport de ce député a la Convention nationale; avec un grand nombre de fac-simile et les signatures des principaux personnages de la Révolution. T. I. Paris: Baudoin Frères, 1828. 392 p.
35. *Parry A.* Terrorism: From Robespierre to the Weather Underground. New York: Dover Publications, 2006. 656 p.
36. Psychologie de Saint-Juste // Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 817–818.
37. *Rastoul A.* Tableau d'Avignon. Avignon: Rastoul, 1836. 318 p.
38. *Raynaud Ph.* La politesse des Lumières. Les lois, les mœrs, les manières. Lonrai: Éditions Gallimard, 2013.
39. *Rouvillois F.* Saint-Juste fasciste?// Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 183–211.
40. *Secher R.* Guerre civile, genocide, mémoricide. // Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 227–248.
41. *Toqueville A. de.* On the State of Society in France Before the Revolution of 1789; And on the Causes Which Led To That Event. London: John Murray,1856. 511 p.

REFERENCES

1. *Basovskaja, N.* I. Stoletnjaja vojna: leopard protiv lilii. M.: Astrel': AST, 2010. 446 s.
2. *Gumilev L. N.* Konets i vnov' nachalo: Populjarnye lektsii po narodovedeniju. M.: Rol'f, 2002. 384 s.
3. *De Kastr R.* Mirabo: nesvershivshajasja sud'ba. M.: Molodaja gvardija, 2008. 419 s.
4. *Konstan Zh.* M. Povsednevnaja zhizn' frantsuzov vo vremena Religioznyh vojn. M.: Molodaja gvardija, 2005. 341 s.
5. *Kropotkin P. A.* Velikaja frantsuzskaja revoljutsija 1789–1793. M.: Nauka, 1979. 575 c.
6. *Las-Kaz,* graf. Memorial Svjatoj Eleny, ili Vospominanija ob imperatore Napoleone: V 2 kn. Kn. I. M.: Zaharov, 2014. 704 s.
7. *Levandovskij A. P.* Maksimilian Robesp'er. M.: Molodaja gvardija, 1965. 304 s.
8. *Lenotr Zh.* Povsednevnaja zhizn' Parizha vo vremena Velikoj revoljutsii. M.: Molodaja gvardija, 2006. 335 s.
9. *Lepelet'e M.* Plan natsional'nogo vospitanija // Izbr. proizv.:V 3 t. M.: Nauka, 1965. T. III. S. 231–263.
10. *Monten' M. de.* Opyty. M.: Eksmo, 2006. 512 s.
11. *Retif de la Breton N. Je.* Sovrashchennyj poseljanin. M.: Eksmo, 2008. 640 s.
12. *Robesp'er M.* O smertnoj kazni. Rech' v Natsional'nom sobranii 30 maja 1791 g. // Izbrannye proizvedenija: V 3 t. M.: Nauka, 1965. T. I. S. 149–154.

13. *Robesp'er M.* O sude nad Ljudovikom XVI. Rech' v Natsional'nom konvente 3 dekabrja 1792 g. // Izbrannye proizvedenija: V 3 t. M.: Izd-vo «Nauka», 1965. T. II. C. 133–141.

14. *Robesp'er M.* Otvet Zheromu Petionu 30 nojabrja 1792 g. // Izbrannye proizvedenija: V 3 t. M.: Nauka, 1965. T. II. S. 105–125.

15. *Robesp'er M.* Po povodu obvinenija v diktature. Rech' v Konvente 25 sentjabrja 1792 g. // Izbrannye proizvedenija: V 3 t. M.: Nauka, 1965. T. II. S. 37–42.

16. *Russo Zh.-Zh.* Ispoved'. M.: Zaharov, 2004. 704 s.

17. *Flor Zh.* Richard L'vinoe Serdtse: Korol'-rytsar'. SPb.: Evrazija, 2008. 666 s.

18. *Shatobrian F.-R.* Zamogil'nye zapiski. M.: Izd-vo im. Sabashnikovyh, 1995. 736 s.

19. *Abad B.* The Name of the Father: Rétif de la Bretonne and the Representation of Paternity in Late Eighteen-Century France. [Diss.] Ann Arbor, ProQuest, 2007. 250 p.

20. Appel à la generalization des massacres dans toute la France. // Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 757–758.

21. *Belmas É.* Jouer autrefois. Essai sur le jeu dans la France modern (XVIe — XVIIIe siècle). Seyssel: Champ Vallon, 2006. 439 p.

22. *Blanc O.* La dernière lettre. Prisons et condamnés de la Révolution 1793–1794. Lonrai: Éditions Tallandier, 2013. 285 p.

23. *Burke E.* Reflections on the Revolution in France, and on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to That Event. In a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris. London: Printed for J. Dodsley, in Pall-Mall, M. DCC. XC. 364 p.

24. *Burstin H.* Révolutionnaires: Pour l'anthropologie de la Révolution française. Paris: Vendémiaire, 2013. 445 p.

25. *Charles-Roux J.* Passion et calvaire d'un enfant roi de France. // Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 163–181.

26. *Custine Marquis de.* La Russie en 1839. T. I. Bruxelles: Wouters et Ce, 1843. 224 p.

27. *Diesbach, G. de.* Le massacre du 10 août. // Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 53–64.

28. *Figeac M.* Les noblesses en France. Du XVIe au milieu du XIXe siècle. Paris: Armand Colin, 2013. 415 p.

29. *Gueniffey P.* Histoires de la Révolution et de l'Empire. Paris: Éditions Perrin, 2013. 744 p.

30. L'apostasie trainee à la barre de la Convention nationale. // Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 831–836.

31. *Lavaux Ph.* Augustin Cochin et la la «nouvelle histoire» de la Révolution. // La livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 679–689.

32. *Lévêque P.* Histoire des forces politiques en France. 1789–1880. T. I. Paris: Armand Colin, 1992. 370 p.

33. *Linton M.* Choosing Terror: Virtue, Friendship, and Authencity in the French Revolution. Oxford: Oxford University Press, 2013. 323 p.

34. Papiers inédits trouvès chez Robespierre, Saint-Just, Payan, etc., supprimés ou omis par Courtois; précédés du rapport de ce député a la Convention nationale; avec un grand nombre de fac-simile et les signatures des principaux personnages de la Révolution. T. I. Paris: Baudoin Frères, 1828. 392 p.

35. *Parry A.* Terrorism: From Robespierre to the Weather Underground. New York: Dover Publications, 2006. 656 p.

36. Psychologie de Saint-Juste // Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 817–818.

37. *Rastoul A.* Tableau d'Avignon. Avignon: Rastoul, 1836. 318 p.

38. *Raynaud Ph.* La politesse des Lumières. Les lois, les mœrs, les manières. Lonrai: Éditions Gallimard, 2013.

39. *Rouvillois F.* Saint-Juste fasciste?// Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 183–211.

40. *Secher R.* Guerre civile, genocide, mémoricide. // Le livre noir de la Révolution française. Paris: Les Éditions du Cerf, 2012. P. 227–248.

41. *Toqueville A. de.* On the State of Society in France Before the Revolution of 1789; And on the Causes Which Led To That Event. London: John Murray,1856. 511 p.